

ных качествах ее творца».<sup>30</sup> Базаров самоотверженно служит науке, процессу познания, но на вопрос о последней, «чистой истине», которая Раскольникову нужна сейчас и немедленно — не одна, так другая, честно отвечает: не знаю.

Он вообще избегает абстракций, особенно в заимствованном варианте («Опять иностранное слово!» — раздраженно перебивает он Павла Петровича, вменившего ему *материализм*, 8, 245), подозрительно относится к обобщениям, за которыми нередко теряется смысл и содержание конкретных явлений: «...сказать, например, что просвещение полезно, это общее место; а сказать, что просвещение вредно, это противоположное общее место. Оно как будто щеголеватее, а в сущности одно и то же». На встречный вопрос жаждущего определенности и однозначности Аркадия: «Да правда-то где, на какой стороне?», — отвечает: «Где? Я тебе отвечу, как эхо: где?» (8, 324).

Отсюда и неприятие несокрушимых принципов, нарочито, чтобы подразнить Аркадия, склоняющегося на сторону дяди, доведенное до абсурда, до вульгарно-материалистической абсолютизации ощущений. Однако когда Павел Петрович «предъявляет» ему свои принципы на деле — вызывает на дуэль, Базаров, презрев свой нигилизм, принимает вызов, т. е., в сущности, руководствуется теми же принципами, теми же понятиями чести и достоинства, что и его оппонент. Совершенно иначе борется с принципами Раскольников — этот, по словам Порфирия Петровича, «долго себя не морочил, разом до последних столбов дошел» (6, 351) и, по собственному его выражению, «принцип убил», а заодно с принципом — старуху, что, опять-таки по его выражению, «пожалуй что, и ошибка»; Лизавету, о которой даже как об ошибке не вспоминает, да и себя тоже — «так-таки разом и ухлопал себя, навеки!» (6, 322). Базаровский скепсис по поводу незыблемых принципов распространяется и на другое, сугубо рациональное, явление: «Да на что нам эта логика? Мы и без нее обходимся, — эпатирует он Павла Петровича. — Вы, я надеюсь, не нуждаетесь в логике для того, чтобы положить себе кусок хлеба в рот, когда вы голодны. Куда нам до этих отвлеченностей!» (8, 242). Раскольников тоже понимает, что «слишком легко тогда было бы жить» (6, 325), если бы все измерялось и регулировалось логикой, но ведь сам он именно ею, в наиболее формальном ее варианте, и руководствовался: «...казуистика его выточилась, как бритва, и сам в себе он уже не находил сознательных возражений» (6, 58) против задуманного преступления.

Беда Раскольникова в том, что он «вышел из задумчивости» — и убил (6, 319). Достоинство и сопряженная с ним уязвимость Базарова — в *задумчивости*, в сложности и неоднозначности восприятия мира. «...Идолы были ненавистны его научно-философскому уму»<sup>31</sup> — это сказано о Тургеневе, но с тем же успехом приложимо к Базарову.

При всей своей жажде большого социального дела («Хочется с людьми возиться, хоть ругать их, да возиться с ними», 8, 324), при всей своей самоуверенности («...Мы драться хотим», «нам других подавай! нам других ломать надо!», 8, 380), он очень трезво осознает реальные пределы человеческого знания и человеческих возможностей, в том числе своих собственных, о чем говорит с горечью и иронией: «Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет; и часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожна перед вечностью, где меня не было и не будет... А в этом атоме, в

<sup>30</sup> Шестов Лев. Достоевский и Нитше: Философия трагедии // Шестов Лев. Собр. соч. Paris: YMCA-PRESS, 1971. Т. III. С. 6. Репринт первого издания М. М. Стасюлевича (СПб., 1903).

<sup>31</sup> Никольский Ю. Тургенев и Достоевский (История одной вражды). София, 1921. С. 84.